

Повести и рассказы // Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1956
FB2: , 16.07.2010, version 1.0
UUID: FBD-66D5CB-DC31-F64E-64A3-51DB-26A9-18F0EC
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Викентий Викентьевич Вересаев

Об одном доме

**Викентий Викентьевич
Вересаев**

Об одном доме

I На Гремячем колодце

Мы третий день косили в Опасовском лесу. Был ве-чер, солнце село. Наш табор располо-жился на полянке, около лощины. Старики отбивали косы, костры трещали, и синий дым медленно стлался между кустами. Дальние полянки дымились легким туманом.

Я лежал на склоне лощины, около Гремя-чего колод-ца. Перед ужином мы выпили вод-ки, и тяжелая усталость превратилась в при-ятную истому. Не хотелось шевелить-ся, сквозь охватившую глубокую задумчивость медленно проплывали чуть сознаваемые мысли; в просторном меркнувшем небе заго-рались звезды, и, казалось, никогда еще в нем не было столько тихой красоты.

Около меня, на пригорке, сидели и разго-варивали три девки из нашего табора — Донька Коломенцова, Наста-сья и Аленка. Внизу был Гремячий ключ, холодный, чис-тый, как слеза; ручеек журчал в осоке, впадая в зацвет-шую сажалку; на узкой пло-тине стояли три старые ивы, и над ними све-тился серп молодого месяца.

Этот ключ, говорят, выбит из земли молнией и обладает целебною силою; на его дне, в чистом белом песке, всегда лежит масса образков и медных крестиков. А сейчас от Доньки я узнал, что и сажалка здесь тоже особенная: на ее тинистом дне лежит труп убитого прохожим солдатом черта. Дело было так: в давнее время шел через лес солдат; над лесом бушевала буря; солдат подошел к пруду и видит: с неба бьет громом в пруд, вода бурлит, а над водою мелькает чья-то косматая голова; как ударит громом — она в воду, а потом опять вынырнет. Солдат стоял за кустом, приложился из ружья, — бац! Стон прокатился по лесу, и голова исчезла под водой. Солдат испугался, думал — застрелил человека, а это Илья-пророк с неба в черта бил, да никак попасть не мог, а солдат ему подсобил.

Тайна этого пруда и ключа настраивала на особенный лад. И покосившийся крест над ключом, и черная вода в просветах зеленой тины, и старые ивы — все глядело значительно, таинственно и необычно. Ко всему этому странно подходила и сидевшая на пригорке Донька. Стройная, с продолговатым, за-

думчивым лицом, она рассказывала о загадочных «курдушках», которые водились в амбаре дернопольского лавочника Ивана Левонина. В лице Доньки было что-то удивительно одухотворенное, как бы прислушивающееся, и в то же время болезненное; прошлую осень с нею было несколько припадков, и она слыла «порченою». Жила она душою в каком-то совсем особенном мире, полном таинственных сил и существ, и эти силы в ее присутствии как бы оживали и для других людей. Я смотрел на нее, и мне казалось — вот, в сумраке летнего вечера, над этим прудом с трупом черта, сидит задумчивая и серьезная Сказка.

Своим медленным грудным голосом Донька рассказывала:

— Он потому и богат, что ему курдуши служат. Тет-ка Матрена сколько раз видала: как ночь, выйдет с мессивом па крыльцо и кормит их.

— Он, что же, колдун, значит? — спросил я.

— Нет, он-то не колдун, а у него отец колдун был; вот, говорят, курдушей этих ему и оставил.

— Да что это такое, курдуши эти?

— А кто ж их знает! Ведь их не увидишь...

Один-то раз тетка Матрена подглядела; пошла она с Иваном Леоновым в амбар к нему, мучицы насыпать; отперла дверь, а из закрыта какой-то черненький выскочил и — в нору; вроде как бы кошка, только подлиннее и с бо-родкой. Значит, схоронился от чужого глаза.

— На что ж они ему нужны?

— Как на что? А они ночью по чужим амбарам ходят, хлеб таскают к хозяину; как в каком амбаре дверь без креста, хоть на пяти запорах будь, пролезут... — Донька помолчала. — Раз я их сама слышала, курдушей этих, — проговорила она с медленной улыбкою. — Иду ночью через Дернополье, а они у лавочника в амбаре: у-уу! у-уу!.. Воют. Есть, значит, просят. Так вот тоже, бывает, дворные воют!

— А дворные разве тоже воют? — спросил я. Дворными в наших краях называют домашних.

— Дворные? Ну, как же не воют! Это и в нашей деревне было, у Сергея Чумакова. Он со

всем семейством ушел в Венев, избу заколотил. Так-то там по ночам дворной выл! Никто на деревне не спал, боялись. Дума-ли, не собака ли; так нет, не было у него собаки...

Заговорила Настька, рябая и скуластая.

— Не знаю, как Иван Легонов, а вот, девки, Аринка санинская, — это уж верно, что еретика. Ее давно ого-варивали, а нынче на святках испытание сделали девки. Как жарили яичницу, воткнули нож под крышку стола, где Аринке сидеть. Сели, значит, яичницу есть, и Аринка села. Вдруг встала. «Тошно!» — говорит и вышла из-за стола... Сколько шуму было! Тут же жених ее был на вечерке: «А ну тебя, говорит, не стану я с тобой же-ниться, мне моя душа дороже!»

— Ей отец велел от себя взять, она тому невиновна, — понизив голос, сказала Донька. — Он колдун был, коренщик; стал помирять, а колдовство-то сдать некому; долго мучился, никак не померет; наконец, позвал Аринку, велел ей принять, ну, после того и помер.

— Господи, что ж ей теперь на том свете за это будет! — от глубины души вздохнула На-

стька.

Донька молчала и задумчиво глядела в темневшую чащу леса.

— Наступит час, придет за нею *тот-то*... — медленно заговорила она. — Вот как летошний год за одним ненашевским мужиком приезжал, Андреяном Лаврентьевым. Заболел он после водки, все сидят, не спят, молоком его отпаивают. Вдруг в полночь слышат, по дороге из-за церкви кто-то едет на тройке, бубенцы звенят. Подъехали к дому, остановились. Андреян испугался, зачуял, значит, велел огонь под лавку спрятать. Стучат в дверь, хозяева не отпирают, боятся. Те все стучат. Ну, вышла старуха в сени, спрашивает: «Кто такое тут?» — Отпирай! — «Кто такой, кому отпирать?» — Тебе говорят, отпирай! Мы за Андреяном Лаврентьевым приехали. Он здесь? — «Нет, говорит, нету, он на ярмарку уехал». Духи и говорят: «Ну, коли его нет, то и дела нет!» И поехали мимо церкви назад... А через три дня вышел Андреян вечерком на гумно и не воротился. Стали искать, видят: лежит под ометом мертвый, — синий, глаза выпучены... Они ведь тоже хитрые, от них не

убережешься!

— Слушай, Доня, ну, скажи, за что же им брать Аринку? — сказал я. — Ведь сама же ты говоришь, что она не по своей воле колдовство взяла, что ей отец при-казал.

— Там этого не спросят.

— Так зачем она брала у отца? Отказалась бы!

— Как откажешься? Кабы он ее спросил. А то — «возьми», говорит, больше ничего.

— А она бы ему сказала: «Не хочу! Сам грешил, сам и расплачивайся! За что же мне-то свою душу гу-бить?..» Ну, ты вот, если бы у тебя отец колдун был, взяла бы ты от него колдовство?

Донька покорно ответила:

— Как же не возьмешь?

Я замолчал. Тут был какой-то совсем особенный нравственный мир, настолько чуждый и непостижимый, что разговор иссякал: темные, слепые силы не отойдут от раз обреченного, и самый высокий подвиг не несет в себе оправдания.

И то, что ответила Донька, были не слова: да, она действительно взяла бы на себя веч-

ную муку и погубила бы себя; и взяла бы не как подвиг, не с душевным подъемом, а покорно и безропотно, как неотвратимую беду.

Нечто подобное ей и предстояло: дом их был очень бедный, мальчиков не было; старших сестер Доньки по-выдали замуж, и осталась одна Донька. Чтоб «сохранить дом», нужно было выдать Доньку за парня, который бы согласился идти в приемные зятя; иначе, после смерти старика-отца, земля, по обычаю, должна была отойти к «обществу». Но Донька была «порченная», и три жениха подряд отказались от нее. О выборе нечего было и думать: кто хочет — приди и возьми ее, только спаси дом. И эта девушка покорно стояла, как рабыня на торгу, и ждала первого встречного, который бы удостоил взять ее. А между тем она любила одного парня из соседней деревни, и он был рад жениться на ней, но не мог идти в «зятя».

— Что это, сколько страстей нарасказывали! Жутко будет спать! — вздохнула Аленка, девочка-подросток лет пятнадцати.

Настька вполголоса пела:

Черная чернобылка во поле стояла,
Во поле стояла, к земле припадала...

Темнело. Серп месяца стал ярче и светил теперь сквозь ивы. Внизу, в осоке, ровно журчал ручей, лягушка подозрительно и испытующе квакнула в сажалке и замолчала. На берегу, между двумя пеньками, стройная осинка глухо и ровно шепталась листьями.

Настька пела:

Ах ты, мать сыра-земля!
Ты скажи мне всё правду,
Что какая зима будет, —
Лютые ль морозы, или глубокие снега?..

В теплом, темневшем небе загоралось все больше звезд. От табора донесся голос тетки Соломонида:

— Аленка! Скоро, что ли, спать придешь? Сидишь там... со всякими! До свету, что ли, сидеть будешь?

— Сейчас! — неохотно отозвалась Аленка.

— Вот я тебе «сейчас»! Иди, что ли! А то вожжой пригоню!

Аленка еще посидела, потом лениво поднялась и пошла. Настька улыбнулась.

— «Со всякими»... Тебя, ведьма, омекает!

— Что-то не любит тебя тетка Соломонида, все придирается, — обратился я к Доньке. — С чего это?

— Сердится на меня. С осени сердится. И не кланяется. Как помешалась я осенью, сама не помню, что творила: кричу, плачу, всего боюсь. Посадила по одну сторону маму, по другую бату, сижу под образами и молитвы пою... Весною и в Ненашеве у сестры гостила, там баба одна, Пелагея, помешалась, так та образа свя-тые в крапиву швыряла. А я все только молитвы пела... Сижу, значит, пою. А тетка Соломонида подошла к окош-ку, смеется: «Знать говорит, дядя Афанасий, твоему корню конец приходит!» А я вскочила с лавки, кричу: «Конец, да не для вас! Прахом пойдет земля, а вам не достанется, колдунам!..» Вот и сердится на меня с той поры, не кланяется. А я чем виновата! Что крикнула, не знаю... Они-то все, конечно, были рады: не возьмет меня никто, земля обществу достанется. А землю у нас все тужат.

— И с чего это, Донька, случилось с тобою? — вздохнула Настька. — Такая здоровая была, а тут вдруг на-поди, что случилось!

Донька задумчиво ответила:

— Я вот все думаю, кому бы на работе было испортить? Ведь я на молотье тогда была в барской риге. Некому бы испортить, а выкачивается порча. Пришла меня крестная проведать, в кармане бутылка со святою водицею, камешек иорданский, песочек... Она на порог, а я выскочила, за плечи ее схватила, смотрю в глаза: «Ты что в кармане несешь?»

— Почуяла, значит!

— Да, не иначе, как порча. А кто напустил? Разве я свят дух, могу знать?

И ее глаза с робким вопросом устремились в темноту.

— И опять же, отчитали меня. Мама пошла в Еньково, к старухе. С этой старухой каждый год припадки бывали; дала зарок молеbstвовать, — сняло. А как годом не помолеbstвует, опять припадки. Вот, значит, сижу я в избе на полатах, и словно котята у меня в животе ходят, под сердце подкатываются. А как пришла пора, значит, прочитала там старуха восемь-

десять две молитвы, поднялась у меня рвота; зеленое что-то пошло, как лягушьи гнезда, а в них головки. И стало лег-че... Должно быть, порча. — Донька помолчала. — А может, господь покарал. Только уж не знаю, — любя ли, за грехи ли какие?

И опять ее глаза с тем же вопросом медленно уста-вили в темноту. И мне казалось, я вижу, как под этим робким взглядом в сумраке складываются и волнуются смутные, загадочные силы, цепко опутавшие всю жизнь беспомощного человека.

— А что, Донька, ведь не пройдет уж в тебе эта порча! — сказала Настька. — Прежнего цвета уж не будет, — кто тебя возьмет?

Донька опустила глаза.

— Федор дернопольский брал... Говорит: ничего, что ты порченная. А только нельзя ему к нам в дом идти, ему бабу к себе нужно.

— Ну, вот, бог даст, не найдется тебе жениха, и пойдешь за Федора, — заметил я.

— Нет, где же! Нельзя. Кто меня пустит? Мама больная лежит, бате одному не управиться. Мне на сторону идти нельзя...

Серп месяца скрылся за лесом. Было темно.

От са-жалки тянуло запахом влажной тины.
Осинка на бере-гу робко шумела листьями.

Она была такая же стройная, как Донька...
Эта осинка стоит тут, ее сечет градом, треплет ветром, ребя-та обламывают на ней ветки, а она стоит, робкая и ти-хая, и с нерассуждающею покорностью принимает все, что на нее посылает судьба. Придет чужой человек, под-рубит топором ее стройный ствол, и с тою же покор-ностью она упадет на землю, и останется от нее только сухой, мертвый пенек.

Я лежал на копне. В небе теплились звезды; с поля, из-за кустов, несло широким теплом; в лесу стоял глу-хой, сонный шум. Тело, неподвижное и отяжелевшее, как будто стало чужим, мысли в голове мешались, и мешались представления. Стройная осинка, стройная Донька, обе робко и покорно смотрящие в темноту... Ми-лая, милая! Сколько в ней глубокого, несознанного тра-гизма, и сколько трагизма в этой несознанности!

II

Похороны

В конце августа в доме Коломенцовых появился но-вый человек.

Это был молодой парень, худой и маленький, с зем-листо-бледным лицом; одет он был по-городски — в пид-жак и жилетку. Проезжая по деревенской улице, я не раз видел, как он вместе с Донькою рубил около избы хворост или молотил на току рожь. И странно было смотреть на этого маленького, как будто недоношенного природою человечка рядом со стройною красавицею Донькою, с ее тонкими, сильными руками... Неужели это новый жених?

Однажды вечером я проходил мимо избы Коломенцовых. На пороге, кутаясь в тулуп, сидела старуха — мать Доньки, Мавра, с желтым, мертвенно-сухим лицом и громадным животом. У нее цирроз печени и порок сердца, она уже второй год еле двигается и только в хо-рошие дни выползает на порог. Поздоровались.

— Как дела у вас? — с любопытством спросил я.

Мавра сделала хитрое и торжествующее лицо.

— Батюшка! Женишок новый объявился! — таинственно сообщила она.

— Это тот-то, маленький?

— Да, да, да, да, да... Он, видишь, шпитонок [1], в Ту-ле живет, в музыкантах, — зашептала она. — Значит, про-жил у нас недельку, чтоб и ему присмотреться, и нам его узнать... Нынче утром ушел в Тулу... Приглянулась ему девка-то! Известное дело, сейчас же хорошие люди понаказали про нее, ну, а он: «Пустяки, говорит, я этим не антиресуюсь!..» Да ты, батюшка, зайди в избу!

«Вот оно, совершилось!..» У меня тяжело сжалось сердце.

Мы с Маврой вошли в избу. Изба была черная, тесная, как клетушка, с грязным земляным полом. В ней пахло сажею и залежавшимся навозом.

Из риги воротились с молотьбы Донька и ее отец Афанасий. Афанасий был высокий и худой старик, с таким же, как у Доньки, продолговатым лицом, в его глазах было то спокойно-подчиненное, смиренное выражение, какое часто бывает у старых мужиков.

— Он где же играет в Туле? — спросил я

Мавру про жениха.

— А там в хору, что ли, в каком. По десять рублей ему платят в месяц... Ученый. Читать может псалтыри над покойниками, все, что хочешь. Ростом низменный, а уж то-то разумом умен!

Донька сидела на лавке у окна, с руками на коленях. Она медленно улыбнулась и сказала:

— Чудной такой!.. Деревенской работы совсем не понимает, робливый. Скажешь: по-ди, напой лошадь! — «Она забрыкает!» — Пригони корову! — «Она забодает!»

— Плох насчет нашей работы, — согласилась Мав-ра, — мало понимает. «Я, говорит, мама, только курочек на своем веку и видел...» Раз послал его хозяин дровец порубить, а девка из сарая в щелку и поглядела: отрубил колышек, и к глазам его, — значит, плох глазами, опытности у него в глазах нету... «Вы, говорит, мама, не опасайтесь: я хоть на работу плох, а одним чтением на подани зарабатую». Ну, а где там! Подань у нас тяжелая!

— Да только ли он глазами плох? Нет ли у него еще какой болезни? — спросил я, вспо-

миная подозрительно-землистый цвет лица парня.

— Господь его знает, батюшка! Нешто мы понимаем? Девка, та вот доглядела: подмышкой справа у него ру-баха в желтых пятнах, вроде как бы дрянь выступает из бока... Ну, да ведь не всякому здоровым быть!

— Загублю я себя! — вздохнула Донька, глядя в тем-ный угол избы.

Афанасий поучающе заговорил:

— Нужно, батюшка, так сказать, что и на том спаси-бо! Горе такое вышло, испортили девку у нас, не берет никто. А сынов-то нету, дома передать некому, — видишь? Пропадать приходится дому.

— А сохранить-то, значит, хочется! — объяснила Мав-ра. — Присватывался тут к девке женишок один, из Дернополя, да не может он к нам в зятя идти, а мы девку отдать не можем: нету сына, надобно зятя добывать.

— Плох паренек, плох, это надо правду сказать! — раздумчиво произнес Афанасий. — Мало пользы от него будет, а что поделаешь? Докуда ждать? Брезгуют девкою, сами видим — с изъяном.

— Отдали бы вы ее за Федора дернопольского. Что вы девку-то губите? — сказал я. — Сами говорите: плох парень, а ведь ей с ним всю жизнь маяться. Пожалели бы дочь!

Мавра скорбно возразила:

— Батюшка, да нешто не жалеем? Уж так-то жалеем! Да что ж поделаешь? Нельзя нам ее в чужой дом отдать, — что с хозяйством станется? Дуры-то мы, дуры, силы мужичьей у нас нету, а не обойдешься без нас в хозяйстве, нужно, чтоб баба была. А от меня, милый, пользы никакой нет, уж второй год лежу... Старик и то иной раз заругается: «Когда ты сдохнешь?» Известно, наше дело христьянское, рабочее, Только хлеб задаром жуешь.

Доня неподвижно сидела на лавке и задумчиво глядела в угол.

Керосинка без стекла тускло горела на столе, дым копящею, шевелящеюся струйкою поднимался к потолку. По стенам тянулись серые тени. За закоптелюю печкою шевелилась густая темнота. И из темноты, казалось мне пристально смотрит в избу мрачный, беспощадный дух дома. Он намечает к смерти

ставшую ему ненужною ста-руху; как огромный паук, невидимую паутиною крепко опутывает покорно опущенные плечи девушки...

И мне пришло в голову: не он ли, этот за-коптелый, прикованный к печке дух, так воз-мущающий меня своею тупою беспощадно-стью, — не он ли один дает все-таки хоть ка-кой-нибудь смысл всей этой непонятной для меня жизни?..

Афанасий вздохнул.

— А как нам вот зятя-то теперь приводить! Нужно миру ведро вина поставить, чтоб под-писали приговор, ветчины выложить на за-куску... А капитал у нас вот как тонок! Не вы-тянем.

—

В конце августа, в воскресенье, Афанасий обратился на сходе к миру с просьбою разре-шить ему принять в дом зятя. Решение вы-шло ужасное: мир наотрез отказал. Этого, соб-ственно, и следовало ожидать: все томились безземельем, земли не хватало своим, и безумно было при-нимать в общество новых членов. Правда, некоторые, соблазняясь пред-

стоящим угощением, заговорили, что следовало бы уважить старика. Но против них решительно и резко восстал Михайло Шестопапов, умный, энергичный мужик, крепко стоявший за «мирские» интересы.

— Не принимаем! Не согласны! — бунтовал он. — Не можем мы землю отдавать чужакам: своим мало!

Афанасий, бледный и смиренный, мял в руках шапку.

— Дозвольте, православные, дом сохранить! — дрожащим голосом просил он.

— Не согласны! — орал Михайло. — Староста! Засвидетельствуй: не согласны! Не можем мы землю раздавать!.. Трех зятьев уж приняли, показали дурость свою... Буде! Довольно!

— Верно! Невозможно отдать! — согласился хромой штукатур Арсентий. Он и Михайло вертели старостою и сходом и всегда умели заставить мир принять то, что находили нужным.

Уж видно, дядя Афанасий, не иначе, как дому твоему конец нужно сделать, — сочувственно вздыхая, сказал Сергей Сафронычев.

Сход расходился. Мавра, несмотря на холодный ветер, сидела на пороге своей избы. С побелевшими губами и мутными глазами, она растерянно качала головою. Около нее стояла бледная Донька, прижимала к груди руки и неподвижно смотрела на расходившихся по дороге мужиков.

Вечером Донька прибежала за мною и попросила по-скорее прийти: Мавре стало очень худо, и ее уже при-частили.

Она лежала на полатях и протяжно охала. Я исследовал ее. Дело было плохо: сердце переставало работатъ, появился отек легких.

В темном углу, около печки, что-то зашевелилось на земле. Это был Афанасий. Босой, в распоясанной рубахе, он поднялся и, шатаясь, подошел ко мне.

— Барин! Я чувствую! Вот пришел ты к нам, старуху мою хочешь полечить... Дай тебе господь доброго здорovia! Стараешься для нас!.. — Старик покачнулся и оглядел меня пьяным взглядом. — Извините! — пробормотал он. — Извините... Простите меня, грешного раба, недостойного!

Он рухнул на колени и прижался лицом к

моему са-погу. Донька подошла к нему.

— Батя, оставь! Ляг на лавку!

Она подняла его и повела к лавке.

— Уйди! — вдруг сказал он. Вырвал руку и опять сел на землю около печки.

Снаружи бушевал ветер; с шелестящим шорохом он проносился по соломенной крыше и глухо ворчал в трубе. Мавра, покрытая тулупом, хрипло стонала, в груди ее клочотало.

Афанасий сидел в углу на своих босых ногах и бор-мотал:

— Ну, ладно!.. Покорно благодарим!.. Что ж, о чем толк?.. Помирать нам всем нужно... Правильно? Мы все одного бога боимся... А с девки не спросишь. Что дев-ка? — Навоз! Вывез в поле, и нет ее. — Старик помолчал. — Жена! — вдруг грозно позвал он.

Хриплые, долгие стоны Мавры наполняли избу и мешались с шумом ветра. Потом вдруг из ее груди вылетел ясный, чистый, громкий звук и замер. На минуту стало тихо.

Афанасий выразительно повторил:

— Жена!

— Ох! Ох! Ох! — быстро захрипели снова

короткие, отрывистые стоны.

— Буде тебе, батя! Сиди! — убеждала отца Донька.

— Уйди! — упрямо сказал Афанасий.

Он поднялся и, вразвалку ступая босыми ногами, по-шел к полатам.

— Жена-а! — грозно и протяжно позвал он снова.

— Ну, куда ты? Помирает Мавра, отойди! — сказал я, удерживая его.

Старик остановился передо мною.

— Барин! Я понимаю!.. Подсобить хочешь старухе, — ну, дай тебе бог доброго здоровья!.. А что жалко? Я го-ворю: «Дайте дом сохранить!» — а они... Ведь сам избу-то срубил, милый! Любовался на нее, как на красное сол-нышко!.. А хозяйка, знай, все одних девок родит... Что же это? Мало я ее учил за это дело?.. Которые померли, которые замуж повываны... Вон девка одна осталась... Ба-арин!..

Он всхлипнул и забил себя в грудь.

— Конец ведь моему дому исделали, что ж я теперь буду? Мы ведь не отказываемся, угощение поставим по закону; зачем мы будем против мира капризиться?

С нар опять раздался ясный, громкий крик, и все смолкло. Я поспешил к Мавре. Она агонизировала, грудь тяжело и неровно вздымалась.

Ветер ударил в оконце избы, зазвенел склеенными газетою осколками стекол и взмыл по крыше к трубе. В трубе опять заворчало, и как будто кто-то в ней зашевелился.

Афанасий, взлохмаченный, с красными глазами, си-дел у печки, хитро посмеивался и глядел на нас. Вдруг он устремил глаза в землю, лицо его сделалось свирепым.

— Аа-аа! — ахнул он и изо всей силы ударил кула-ком в земляной пол.

— Батя, да будет тебе! — увещевала его измученная Донька.

Старик пробормотал:

— Ничего... О чем толк? Землю не прошибешь... Не прошибешь ее, матушку, она все стерпит!..

И с пьяным рыданием он припал к полу.

Донька, бледная, как призрак, сидела на лавке, уро-нив на колени тонкие руки. А ветер выл на дворе, и в трубе как будто плакал кто-то, — плакал старый, закоп-тельный дух

погибающего дома... И казалось мне, — смертью и могильным холодом полна уже изба, и двигающиеся, корчащиеся призраки хоронят что-то, что давало им всем жизнь и смысл жизни.

III

Одинокий

Года через два, в начале сентября, мне снова пришлось быть в этих местах. Я ехал в телеге с одним дернопольским парнем, Николаем. Небо было в тучах, на полях рыли картошку, заросшие полынью межи тянулись через бурые, голые жнивья. На Беревской горе мы нагнали высокого, худого и лохматого старика. Он медленно шел по дороге, опираясь на длинную палку-посох. Заслышав телегу, старик посторонился и обратил к нам худое, продолговатое лицо.

— Дедушка Афанасий, здравствуй! — сказал я.

Он с недоумением прищурил подслеповатые глаза, потом узнал и оживился.

— Здравствуй, батюшка, здравствуй!

— Садись к нам, подвезем!

Старик взобрался на телегу.

Он сильно постарел и оброс, коричневая шея была покрыта сетью морщинистых трещин, седая бородака мешалась у висков с нависшими космами мочальных волос.

— Донька-то твоя умерла! — сочувственно обратился я к нему. Я уж слышал, что она неожиданно умерла тою же осенью, когда я ее видел в последний раз.

Афанасий медленно ответил:

— Померла. Который месяц под Покров бывает, в этот. В три дня испеклась.

— С чего же это?

— Кто же ее знает! Значит, смерть пришла.

— Как же ты теперь живешь? Один?

— Один, милый, один! — Старик подумал. — Один! — решительно подтвердил он.

— Тяжело тебе одному управляться!

— С чего тяжело? — По тонким губам Афанасия промелькнула юмористическая усмешка. — Лежишь на печке: жив — стало быть, слава богу! Помер — смерть все одна! Чего ж мне? Только бы душу сообщить, а помирать все один будешь. Один, а не вдвоем.

Помогать никто не станет, — помирать-то!

— Что ж, ты сам и печку топишь, и обед варишь?

— Сам. Кому же еще?.. Все один. Ни навить, ни по-дать некому; навьешь сена на телегу — полезай, притап-тывай; а потом опять — скок на землю! — дальше кла-ди... Придешь домой — корову подои, ужин справь...

Старик рассказывал, и на губах играла та же усмешка. Как будто он забавлялся впечатлением, которое должны производить его слова.

— А народ пользуется, — помолчав, заговорил он. — В летошний год связать взяли по двадцать пять копеек с копны: он, говорят, отдаст! Ему вязать некому. Раньше по двадцать пять копеек брали *сжать* копну, а теперь, видишь ты, — *связать!*.. хреста нету. А не связал, — так и едут по твоему хлебу, нет, чтоб на межу своротить... «А он зачем, говорят, не убирает?» Всю рожь в землю втопчут.

Афанасий задумался.

— Намедни на работе был, прихожу домой: дверь изнутри на засов заперта, окно высадил. Топор скрали, недоуздок, хомут... С кого

спросишь? До чужого никому дела нет. А сам нешто доглядишь? Все один. А два-дцать-то рублей в год на подани отдай. На то не глядят, что борода чалая. Под окошко батожком: стук, стук! «Дедушка Афанасий, неси подань!..»

Он молча стал глядеть на далекие, подернутые дым-кою жнивья, и в его взгляде была смиренная, нерассуждающая покорность. Мне вспомнилось, — совсем таким взглядом два года назад смотрела в летний сумрак Донька над Гремячим колодцем.

— Ну, тут слезать мне, — сказал Афанасий. — Вам кругом ехать, а я напрямик пойду, оврагом. Спасибо, батюшка, будь здоров!

Он слез и, опираясь на свою длинную палку, пошел к оврагу, за которым серела деревня. Высокий и иссохший, со спутанными, отросшими волосами, он выглядел пустынным, одичавшим в своем безлюдье.

Мой возница, Николай, прищурясь, смотрел ему вслед.

— Из волости идет, в холодной отсиживал, — сказал он.

— За что?

— За что? За подань! Что ж он справить

может, та-кой-то? Где ему землю оправдать?.. Зажился дедка, чу-жой век живет! — неодоб- рительно прибавил Николай.

Вечером я вышел на крыльцо. Небо было в густых тучах, в темноте накрапывал теплый дождь. За ручьем мигали редкие огоньки де- ревни. Я вглядывался в нее, старался разли- чить избу Афанасия. Но ничего не было вид- но. Только черные тучи медленно клубились над де-ревней, и между ними виднелись пят- нистые, мутно-блед-ные просветы неба.

Этот старик сидит теперь в своей пустой избе. В ней пахнет холодной сажею. За нетоп- леною печкою ежится в темноте затравлен- ный, одичавший дух дома. А с ули-цы на раз- валюшку-избу холодно и враждебно смотрят избы, крепкие сознанием своего права на жизнь.

Черные тучи клубились и вздымались над деревнею. И казалось мне, — огромный тем- ный дух наклонился над избою Афанасия. Тя- желою рукою он сдавил горло приникшего за печкою «дворного» и душит его — мед-ленно, спокойно и беспощадно...

Примечания

Питомец воспитательного дома.

[^^^]